

И.Ю. МЛОДИК

ТАМ,
ГДЕ ТЕБЯ
ЕЩЕ НЕТ...

ПСИХОТЕРАПИЯ
КАК
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ИЛЛЮЗИЙ



И.Ю. Млодик

ТАМ, ГДЕ ТЕБЯ ЕЩЕ НЕТ...

**ПСИХОТЕРАПИЯ
КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ИЛЛЮЗИЙ**

5-е издание (электронное)



Москва
2016

УДК 821.161.1.-31
ББК 84(2 Рос=Рус) 6-44
М727

Млодик, И. Ю.

М727 Там, где тебя еще нет... Психотерапия как освобождение от иллюзий [Электронный ресурс] / И. Ю. Млодик. — 5-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 254 с.). — М. : Генезис, 2016. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".

ISBN 978-5-98563-393-1

Книга включает в себя роман и психологическую статью, помогающую понять сущность процесса психотерапии. В романе параллельно описываются две истории: первая — о девушке, ныне живущей в Москве, а вторая — символическая — о человеке, проводящем жизнь на туманном острове.

«Кто я? Зачем живу?» — эти вопросы периодически задает себе каждый, они, в свою очередь, порождают множество других вопросов, и, именно с них, начинается путь к новой жизни. Этот путь тяжел и опасен, но он ведет к иным, неизведанным землям и к солнцу...

Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1.-31
ББК 84(2 Рос=Рус) 6-44

Деривативное электронное издание на основе печатного издания:
Там, где тебя еще нет... Психотерапия как освобождение от иллюзий / И. Ю. Млодик. — 3е изд., испр. и доп. — М. : Генезис, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-98563-336-8.

В оформлении обложки использована фотография А. Мухаматулиной.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-98563-393-1

© Издательство «Генезис», 2010

*Моя глубокая признательность всем тем,
кто был причастен к созданию этой книги.*

*В первую очередь моему психотерапевту Елене Б.
и всем моим клиентам, отважившимся на это путешествие.*

Процесс психотерапии невозможно описать во всей его полноте. Написанная мной история — одна из многочисленных попыток сделать это: описать неопишемое. Практически невозможно в одном рассказе, романе полно и достоверно изобразить счастье, страдание, искания или любовь. Не получится. Столько книг про это написано, и все же каждая история, каждый автор вносят что-то новое в то, что уже рассказано ранее кем-то другим. Вот вам и моя капля в этом море. Почти не выдуманная история и статья в одной книге об одном и том же удивительном процессе. Психотерапия в жизни современной девушки и метафоричная жизнь героя, проживающего этот путь в легенде, сказке или, может быть, в чьем-то сне. Для того, кто еще не решился отправиться в этот путь, и для тех, кто уже там — на пути к своей новой жизни.

Ирина Млодик

Там,

где тебя

еще

нет...

нет...

еще

где тебя

там,

Никто не мог ему рассказать, когда и где он родился. Да и много лет этот вопрос его нимало не волновал. Его вообще мало волновали вопросы. Там, где он жил, у всех вокруг была одна задача — уцелеть, а задумываться о том, кто и при каких обстоятельствах дал тебе жизнь, было не принято или чревато откровением, за которое, возможно, пришлось бы дорого заплатить.

Сейчас середина промозглой зимы, и тусклый свет растворяет темноту лишь на несколько часов, и еще туман... Всегда туман. Старожилы рассказывали, что когда-то, на заре времен, бывали дни, когда привычная пелена неожиданно рассеивалась в той части острова, где Город спускается к самому морю, и тогда можно было увидеть солнце и там, далеко на горизонте, — неведомые земли. Мир без тумана? В это верилось с трудом даже тем, кто обладал богатым воображением.

Сколько он жил, ему никогда не удавалось по-настоящему увидеть солнце, всего лишь особенный, чуть желтоватый свет сквозь туман. Лишь строжайший запрет Правления на обсуждение идей существования других земель, солнца, иной жизни вызывал в нем смутное чувство, что, может быть, то, о чем говорят смельчаки, — правда. И их остров вовсе не остров, а часть материка. И если идти много-много дней на восток, то можно дойти до огромной Горы, которую, правда, еще никто не мог одолеть или же

обойти. И что солнце — круглое и ровное, как тарелка, и что оно меняет цвет, становясь почти красным незадолго до того, как наступит полная темнота.

Его не волновали другие земли, недоступная Гора или то, насколько бесконечно море, но за возможность хоть краешком глаза увидеть настоящее солнце он бы отдал многое. Впрочем, многое отдать все равно бы не получилось, так как он не обладал ничем большим, чем любой другой житель острова. Это приносило успокоение. Если ты такой как все, то и жертвовать нечем. Поэтому он разделял мнение Правительства, вынесшего запрет на обсуждение этих нереалистичных идей. Будоражающие мысли о других землях только беспокоили, вносили смуту, рождали тревогу и желание что-то предпринять, а предпринимать-то было и нечего. Из ныне живущих никто не видел всего этого. Все сказки, домыслы, дурь.

Когда он не был одержим грезами о солнце, ему вполне нравился туман. Конечно, не такой, как сегодня: холодный, пронизывающий, делающий тебя мокрым изнутри, воняющий сырой землей и корой деревьев. А летний туман — легкий, пахнущий морем, водорослями, рыбой, пронизанный солнцем, которое хоть и не проникало сквозь эту завесу, но чувствовалось в каждой капле. В детстве он был уверен, что именно солнце пахло водорослями и морской водой, а не летний туман.

Весной и осенью туман становился просто декорацией к дождям, которые с грохотом стучали по крышам и водоотводам, откуда по специальным желобам вся вода потом уходила в море. Жители города в межсезонье всегда поминали добрым словом своих

предков, которые несколько столетий назад построили всю эту хитрую систему отвода воды. Потому что поздней осенью, темными ночами, когда начинал дуть безжалостный и неотвратимый северный ветер, особо чувствительным начинало казаться, что когда-нибудь очередной ливень просто смоев их всех в соленую бездну, беспощадно слизнет целый город.

Дождь и ветер он не любил, туман же был ему другом. Всего пять-семь шагов — и ты в безопасности. В этой белесой завесе так легко стать незаметным, исчезнуть, перестать существовать. В тумане растворяются краски, все становится силуэтным, нечетким, призрачным, звук же, наоборот, получается глубоким и ясным, как будто приобретает очертания, форму.

Он с детства узнавал всех соседей своего квартала по шагам, и пока окружающие всматривались в непроглядную муть, пытаюсь понять, что за человек приближается к дверям, он уже заранее знал, кто это: тучный мельник, живущий за углом, пышнотелая молочница, подарившая городу уже восемь таких же пухленьких, как она, детишек, или старый рыбак со своим сыном.

Вообще, рыбаки жили в Нижнем Городе возле лагуны, которая была утыкана их лодками, точно нарукавник булавками у молоденькой портнихи Берты, что жила на первом этаже единственного розового дома в их квартале. Старому же рыбаку приходилось каждый день в любую погоду, кроме зимних штормов, подниматься кривыми улочками в гору, таща с собой сети и часто весьма скудный улов.

Поговаривали, что раньше он был художником, но когда его жена стала чахнуть от какой-то неведомой местным докторам болезни, ему пришлось за-

няться переработкой рыбы в лагуне, чтобы заработать на лекарства. Там он простудил руки, от чего его пальцы распухли и скрючились. Воспаленные суставы причиняли нестерпимую боль, руки вскоре потеряли всякую чувствительность к кисти и углю. Полотна и краски были заброшены, тем более что картины на острове всегда раскупались плохо и больше из симпатии к художнику, чем из потребности в красоте. Кисти были убраны в сундуки, а жена умерла с наступлением летних туманов.

Соседи всем кварталом купили вдовцу лодку, и с тех пор он стал рыбаком и очень быстро состарился. Они с сыном со временем как будто смирились со своей рыбацкой судьбой, но перебираться в Нижний Город не хотели, не могли расстаться с дорогим их сердцу домом, где с портретов, развешанных по стенам, грустно улыбалась дорогая их сердцу женщина. Сын рыбака любил рассказывать ребятам, что из их окна можно было бы увидеть другие земли, если бы, конечно, не туман. Но никто в это не верил, даже легковверные мальчишки.

Квартал жил бедно, но дружно и открыто. Тайн не было, да их и не могло быть, во всяком случае, для него — Ганса. По голосам и звукам он мог воссоздать любую картину из соседской жизни у себя перед глазами, скрыть хоть что-то не могли ни дожди, ни стены. Туман создавал лишь видимость укрытости от чужих глаз, так же как крепостные стены города — ложное ощущение защищенности от невидимого врага, крыши — иллюзию защиты от межсезонных дождей. Лишь водосточные трубы в этом городе работали надежно, иначе Нижний Город уже давно бы затопило, да и Верхний Город, казалось, тоже мог бы

уйти под воду, если бы не эта вершина мастеровой мысли — городские водостоки.

Ему нравился его Город. Он гордился тем, что живет именно здесь, среди этих людей, что занимается очень важным делом — шьет сапоги. Кому, как не ему, узнавать своих соседей по шагам. Ведь по мостовой стучали, шаркали, подсакивали, прихрамывали его сапоги, ботинки, сандалии. Говорят, он был хорошим сапожником. У него шили обувь не только жители Верхнего, но и знатные люди из Главного Города, они, правда, укутывались в дорогие плащи и глубоко надвигали шляпы, пряча глаза, но мастеровых не обманешь, знатных господ видать за версту даже в тумане.

Еще несколько лет назад он придумал новый состав клея, который помогал обуви дольше оставаться сухой, не промокать в дождях и вечной мороси. Смола с корявых деревьев, что растут к западу от крепостных стен, показалась ему достаточно клейкой, к тому же он заметил, что вода на ней всегда собирается в капельки и кора под смолой всегда остается сухой. Новый клей отлично склеивал подошвы, пропитывал стыки, стежки, щелки. Ботинки получались почти непромокаемыми, по крайней мере, их хватало на одну долгую дождливую осень.

Ганс жил простой, почти счастливой жизнью. Его ценили как сапожника. Берта любила останавливаться перед его мастерской и пересказывать последние новости и сплетни. Соседи никогда не отказывались помочь, да и он сам всегда был рад прийти на помощь любому. Правительство заботилось о том, чтобы враг не проник в Город. Дожди обеспечивали Ганса работой, туман — укрытием.

Летом он часто пропадал за городом, где собирал драгоценную смолу, зимой — на ярмарке кож, весной спускался в лагуну помогать старому рыбаку конопатить и приводить в порядок разваливающуюся лодку. Осень всегда приносила много заказов, и он работал особенно усердно, часто не успевая хоть раз за день выйти на улицу, где туман из-за проливного дождя поднимался над землей чуть выше, чем обычно.

Он любил свой Город, делал, что следовало, чувствовал себя нужным и был доволен тем, что имеет. Только почему-то именно сегодня, в это промозглое зимнее утро, в его сердце поселилась какая-то смутная тоска, которая к обеду, изрядно побродив по его телу, оформилась наконец в тревожный вопрос: как и когда он родился?

У молочницы Марты вчера мальчишке, пятому по счету, исполнилось семь лет. Был праздник, пироги, угощение. А сегодня он впервые вдруг задал себе вопрос: когда же его день рождения? Вопросы поселили в нем настоящий ужас, переходящий в панику, потому что он вдруг понял, что не знает о себе очень важных вещей. Не знает, сколько ему лет, кто его родители, где они. Лавина вопросов, внезапно возникнув, чуть не погребла его под собой. Он выбежал на улицу из своей пропахшей клеем и кожей мастерской и стал метаться от двери к двери, задавая эти вопросы каждому, кого удавалось застать дома. Но никто из соседей почему-то не мог рассказать ему, как и когда он появился на свет.

Они говорили:

— Ты жил здесь всегда. Всегда, сколько мы себя помним.

— Ганс, зачем тебе это? Зачем тебе знать, как ты родился?

— У тебя не было родителей, с тобой всегда жила лишь старая добрая Жильберта, царствие ей небесное.

— Мы и правда никогда не праздновали твоего дня рождения. Значит, ты можешь выбрать себе любое число, любое, какое тебе понравится.

— Сколько тебе лет? Да... сколько же? Ну, наверное, примерно столько же, сколько сыну рыбака. А ему недавно исполнилось двадцать пять. Значит, и тебе двадцать пять, ну максимум — двадцать шесть. Марта, ты как считаешь, Гансу нашему есть уже двадцать шесть? Вот видишь, и Марта так считает...



Она не любила Москву, особенно ранней зимой, когда весь город становился серым: небо, дома, лица, грязь под ногами. Все теряло краски. Все лишалось смысла. Ей казалось, что если поместить камеру на самый высокий фонарь возле входа в метро, то картина на видео в ускоренной перемотке была бы удручающей в своей бессмысленности. Толпы серых людей обреченно и сонно серым зимним утром входят в мрачное подземелье. Оно полдня жадно пожирает их только затем, чтобы ближе к вечеру начать выплевывать такими же серыми и усталыми на грязную мостовую.

Ну и смысл?

Это был ее любимый вопрос. Точнее, ответ. Никто не мог убедить ее в том, что кто-то в этой серой толпе сегодня спас чью-то жизнь, а кто-то безумно

влюблен, а вон та девушка в белом берете улыбается, потому что пожилой врач наконец поздравил ее с долгожданной беременностью. Все неправда. И смысла нет. Потому что все равно любая, даже самая великая любовь рано или поздно заканчивается, дети, вырастая, оставляют родителей, самая любимая работа надоедает, ни один начальник не в состоянии оценить тебя по достоинству, денег всегда не хватает, в отпуск ехать не с кем, и в конце концов мы все умрем. Тогда зачем все это?

Предаваясь этим мрачным мыслям, она тем не менее чувствовала себя особенной, возвышенно-печальной и гордо одинокой. Ей казалось, что знание о бессмысленности существования выделяет ее среди этих простых людей, чья наивная вера в смысл жизни двигает их каждый день к дверям метро и обратно. Она — не они. Это самое главное. Она — другая. Ее зовут Анна.

Этим мыслям она обычно отдавалась по дороге на работу, сладостно упиваясь страданием. Меланхоличная тоска с легким привкусом философии позволяла ей хоть как-то пережить злобную тесноту в вагонах и унылые очереди на эскалатор, отвлекала от вида профессиональных нищих в переходах под стоящим в пробках проспектом, разрешала не присоединяться к этому утреннему московскому безумству, которое охватывало и ее, стоило только начать думать о работе.

Работа делала ее никем. Она была бухгалтером в небольшом банке, точнее, даже в филиале этого ну очень небольшого по московским меркам заведения. У нее экономическое образование и уже три года опыта работы. Но на самом деле она никто. Именно

с этим ощущением она день за днем привычно входила в неудобное помещение с одинаковыми серыми столами, искусственным освещением и вечно гудящими компьютерами.

Никчемность вползала в нее еще на входе, когда она автоматически махала вечно угрюмому охраннику своим отвратительно-серым пропуском и, на ходу снимая пальто, погружалась в эту серую дремоту, восьмичасовую медитацию — сон наяву.

Ее работу мог бы делать и примат, достаточно владеющий пальцами, чтобы тыкать в клавиатуру на ее компьютере времен покорения татарами Крыма. Примат к тому же значительно лучше нашел бы общий язык и с их главным бухгалтером, ибо особи одного вида без труда способны понимать друг друга. Феоктист Петрович (имя для примата, конечно, труднопроизносимое, зато очень главнобухгалтерское) был броваст, длиннорук, занудлив и незатейлив. Говорил много, но в основном междометиями. Любил тыкать своими длинными обезьяньими пальцами в ее бумаги и из длинных слов знал, казалось, только одно: «Переделайте!».

Она считала себя значительно умнее Феоктиста Петровича. Это была ее роковая ошибка, поскольку ее начальник примитивным чувством главного гиббона улавливал ее необоснованную заносчивость и, не замечая в ней радостного желания отреагировать повышением рабочего энтузиазма на его очень справедливые замечания, как правило, обреченно вздыхал и произносил единственную длинную фразу, на которую был способен:

— У вас нет будущего, Дерзкая, из вас никогда не получится главного бухгалтера.

Фраза должна была пригвоздить ее к полу, открыв ей ужасную правду о собственной бесперспективности, должна была включить амбиции, зажечь в ней неугасаемое желание стать лучшей работницей в отделе, чтобы потом, когда через двадцать лет старый гиббон загнетса над своими годовыми отчетами, это почетное место предложили именно ей. Желание не появлялось, но Петрович был странно упорен. А вдруг? Кстати, «дерзкая» — это вовсе не колкая, изящная метафора. Приматы не способны к образному мышлению. Дерзкая — это ее фамилия. Спасибо мамочке.

Самое кроткое и тихое в их сибирском городке существо, ее мать, носила эту фамилию и передала ее по наследству дочери, тоже не соответствующей этому красивому яркому слову. Бедная мамочка с безосновательным пафосом называла дочь «столичным банковским работником» и была убеждена, что жизнь в свибловской арендованной однокомнатной клетке, на оплату которой уходила основная часть заработка, — достойный восхищения этап на пути восхождения к карьерному и всему прочему счастью. Для мамочки, заслуженного библиотекаря, столичная жизнь Анны вполне соотносилась с их фамилией.

Мама не любила приезжать в гости, была в Москве лишь однажды и ни разу не вышла из дома без сопровождения.

Анна совсем не ощущала себя дерзкой. Ну разве что где-то очень-очень глубоко в душе. Значительно чаще она чувствовала себя никчемной, блеклой, потерянной... точнее, не найденной. Иногда в этом большом городе, где так много людей, что никому ни до кого нет никакого дела, она казалась самой

себе ребенком, оставленным родителями. Они, приехав по делам в этот огромный мегаполис, попросту забыли ее на вокзале, уезжая в какой-то свой тихий и волшебный город, где их ждут уютный дом, дружная большая семья, камин в гостиной и большая добрая собака во дворе. И потому ей надо просто жить и дожидаться того момента, когда они вспомнят об утерянной дочери, вернутся за ней со слезами и подарками и заберут ее в красивый дом, избавив от всех печалей, тревог и вездесущего серого цвета... На этом ее мечты обрывались. Она не представляла, чем бы занималась в этом красивом доме и волшебном городе после слезно-радостного воссоединения с родственниками. Думать про это было уже не интересно. Главное — найтись и попасть домой.

Через неделю ей стукнет двадцать семь, и сегодня она предпочитает пялиться в опостылевшие платежки или упиваться бессмысленностью существования, а не думать о том, что час «икс» приближается. Когда-то в свои смутно-депрессивные пятнадцать, после очередной несчастной и невзаимной любви, она дала себе зарок, что если к двадцати семи годам не станет счастливой, то и жить тогда незачем, потому что после двадцати семи шансы на счастье стремительно испаряются. Будучи по натуре пессимистичной и рациональной, она скрывала от самой себя, что ждала этой заветной цифры точно так же, как маленькие дети ждут Деда Мороза: с замиранием сердца, непоколебимой верой в чудо и едва уловимым страхом того, что волшебный старик по несправедливой случайности может обойти их дом стороной.

Она была почти уверена, что какая-то счастливая встреча, неожиданный случай, удивительное событие как-нибудь войдут в ее жизнь и перевернут все, озарив ее бытие ярким и бесконечным счастьем. И случится это непременно до того, как ей исполнится двадцать семь.

Но пока ей не хотелось оглядываться на свою, как ей казалось, долгую жизнь, в которой было несколько странных мужчин, больше претендующих на роль сыновей, сомнительно-удивительных событий из серии поступления в столичный вуз и малоперспективных явлений из разряда обретения работы под началом самого нудного и бровастого бухгалтера Москвы и Московской области.

Как справлять сие знаменательное событие — двадцатисемилетний рубеж, — Анна не имела никакого понятия. Студенческие подруги, обзаведясь мужьями и детьми, выпали из общения сами собой. В обсуждении памперсов, ипотек и проблем грудного вскармливания она была никудышным собеседником, ей самой тоже было совершенно не о чем поведать подругам, вопросы постижения бессмысленности их, скорее всего, не увлекали.

Из друзей у нее оставались Достоевский, Кафка, Бродский, Шопенгауэр, Воннегут и Стейнбек. Почетная, но не совсем подходящая для празднования дня рождения компания. Хотя... как бы она поступила, если б они и вправду пришли? О... это было бы ужасно! Такие люди не ходят к таким, как она. Она, конечно, потеряла бы дар речи в присутствии любого из них, немедленно ощутила бы себя мыльным пузырем и лопнула, оставив после себя лишь маленькую мыльную капельку на столе.

От созерцания самоуничижительных картин в своем воображении ее оторвал телефон, утробно заручавший в кармане пиджака.

— Привет, Нюсик. Не узнала?

— ...

— Ну давай, вспоминай улицу Ленина, карусель, ну?

Это был он. Нюсиком ее звали только в школе, бархатный голос, по которому все существа женского пола сходили с ума, мог принадлежать только Димочке — красавцу и сердцееду, с которым она один раз целовалась на карусели, пока, к великому ее огорчению, их не выгнала оттуда взашей какая-то разгневанная мамаша.

— Димочка, ты спас мне жизнь.

— Ну ты обалдела совсем! Вроде бы не успел еще. Узнала, стало быть.

— Сейчас своим звонком ты спас мне жизнь.

— Ты что, собиралась повеситься, что ли?

— Нет, конечно, я просто очень рада тебя слышать. Как ты узнал мой телефон?

Все оказалось просто и волшебным, как в ее мечтах. Он приехал на стажировку или учебу какую-то на три месяца, через девчонок нашел ее телефон, позвонил, предлагает встретиться, говорит, что всегда хотел найти, скучал, ждал встречи.

Она и верила, и не верила в это. Все случилось так быстро, его голос в телефоне был такой нежный, такой замечательный. Не может быть, чтобы он скучал. Скучал по ней... Невозможно. У него всегда была туча девочек, девушек, женщин, поклонниц, покровительниц. После того поцелуя он забыл о ней, точно она была призраком, ни разу больше не подошел

к ней, не танцевал с ней на выпускном, не обращал внимания. Ее сердце даже не было разбито, ей самой поцелуй на скрипучей карусели долгое время казался сном. Она, конечно, ждала, конечно, страдала, когда видела, как он излучает обаяние, растапливая любое женское сердце. Вряд ли он изменился... Но он помнит о поцелуе! Даже она давно вписала ту памятную встречу в список нечаянно приснившегося, в девичьи наваждения. А он помнит. Значит, она небезразлична ему. Значит, помнит, значит, скучал...

Ее сердце внезапно забыло, как поддерживать нужный ритм, легкие перестали дышать, а голова в момент распухла от количества одновременно решаемых задач: горьких воспоминаний, тревожных ожиданий, непростых решений (отправившись пораньше и заезжать домой переодеться или так сойдет?). Она погрузилась в водоворот мыслей и еще три часа пялилась в экран, ничего не видя перед собой, не двигаясь и почти не дыша.



Почему он никогда не думал о своих родителях? Жильберта всегда звала его «сынок», добрая половина города называла его «нашим Гансом». Он никогда не чувствовал себя одиноко, всегда знал, что надо делать, каким будет его будущее. Жители Города день за днем рождались, вырастали, старели и умирали на его глазах. Жизнь была понятна, стабильна и предсказуема. Он знал, кто он такой и кем будет, когда состарится. Город был его колыбелью. Это каменное чрево его вырастило, вынянчило и теперь пожинало плоды, гордясь хорошим мастеровым и примерным гражданином.

Но почему именно сегодня возникли все эти вопросы? Он вдруг остро почувствовал, насколько на самом деле растерян. Чувство острейшего одиночества черной волной окатило его, оставшись где-то в животе сосущей болью. Жгучая тоска, обдав кипятком, зашипела о том, что отныне покой потерян навсегда. Теперь он не сможет жить, как раньше.

Если бы только он был волком! Он завыл бы так, что лопнули бы сердца, не в силах перенести боль, выраженную в звуке. Быть может, тогда ему удалось бы хоть ненадолго освободиться от тоски и ужаса, взявших в плен его тело. Но вместо этого он лишь сидел неподвижно в темнеющей мастерской, боясь пошевелиться, желая только одного — вернуться в счастливое вчера, в ту пору, когда страшные вопросы еще не разрушили все те представления, на которые он привык опираться в своей прошлой простой жизни. Он не сразу вышел из оцепенения даже тогда, когда в его мастерскую ввалились друзья, наполнив ее бодрими юношескими голосами, запахами молодых потных тел, прелой одежды и чуть прокисшего табака.

— Что хандрить, дружище? Давай вылезай из своей каморки. В «Тугом пузе» сегодня рыжий Эрик угощает всех пивом, Правление дало ему работу на новом строительстве, он теперь не кто-нибудь, а помощник главного плотника! — Вечно веселый Клаус стремительно сгреб его в охапку, замочив дождевиком, и поднял со скамьи, безвольного, точно мешок картошки. — Ну же, Ганс, поторопись, уже пора. Ты же знаешь, он всегда стремительно напиивается, перестает быть щедрым и быстро переходит к драке. Глупо ввязываться в драку, когда ты еще даже не пьян.

Петер со Стефаном уже рыскали в полутьме, хватая дождевик, шляпу, напяливая все это на безучастное тело Ганса. Второпях потушенная Клаусом свеча зашипела от мокрых пальцев и безропотно сдалась под напором внезапно наступившей темноты.

Ганс любил своих друзей, любил всех вместе и по отдельности. Кудрявый красавчик Клаус был заводилой в их компании, его фантазии на предмет развлечений и забав были неистощимы, он никогда не впадал в уныние даже самой дождливой и серой осенью, умел выкрутиться из любой ситуации, поскольку мог обаять любое живое существо независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Ганс в тайне от самого себя завидовал этому стройному красавцу с безупречным телом: его энергии, веселому нраву и легкому успеху у девушек. При этом он был искренне убежден, что если и есть где-то другие города, в которых бывает настоящее солнце, то населены они, конечно, такими лучезарными людьми, как их любимый Клаус.

Петер и Стефан были братьями-близнецами, внешне похожими друг на друга, как две дождевые капли, и столь же разными внутри, как та вода, что падает с неба и плещется в море. Случай позаботился о том, чтобы окружающие не мучились вечным вопросом, кто из них кто. Когда Стефану было шесть лет, его укусил паук, щека покраснела, вздулась, грозя изуродовать лицо миловидного голубоглазого мальчика. Старенький врач, с трудом спустившийся на негнущихся ногах из Верхнего Города, разрезал щеку, чем спас Петеру брата, навсегда оставив миру знак, как отличать одного голубоглазого мальчика от другого. С тех самых пор все несчастья и недораз-

умения всегда случались именно со Стефаном, а Петер спасал его из всех передряг.

О бесстрашности Петера ходили легенды, и хотя Стефан появился на свет раньше брата, все были уверены, что старший, конечно, Петер, — ловкий, быстрый, всегда готовый к любым неожиданностям. Он не переносил несправедливости, и обидчику всегда доставалось, от его правосудия было не укрыться. Другое дело, что суд Петера всегда был скорым, и он выносил свой приговор, не пытаясь даже разобраться в обстоятельствах дела.

Стефан же жалел и понимал всех, всегда причитал над жертвами расправы брата, смазывал их раны, утешал и тащил домой вне зависимости от того, где их настиг кулак «борца за справедливость». Это был не единственный пункт, по которому мнения братьев расходились, но жили они дружно, и один ради другого готов был сразиться с целым миром, а другой был готов дотащить брата хоть до самого рая, как бы далеко он ни находился.

«Тугое пузо» было набито мужчинами разного возраста, точно спелый кабачок семенами. Друзья с трудом протиснулись к столу Эрика, который, уже изрядно разогретый, затевал очередной спор. Петер быстро смекнул, что до начала драки остаются, скорее всего, считанные минуты, и не просчитался. Тяжелый стол был вскоре опрокинут, обдав всех пивными брызгами и остатками кислой капусты. В момент все смешалось: разящие кулаки, красные лица, глухие удары, грохот падающей мебели и запах пива, слившегося с запахом пота разгоряченных тел.

Гансу с трудом удалось вытащить из этой заварухи причитающего Стефана, которому уже крепко

досталось: из разбитой губы сочилась кровь, левое ухо алело от удара кем-то брошенной кружки. Они забрались под навес, драка в «Пузе» обычно больше нескольких минут не длилась. Ганс заботливо приложил к разбитой губе друга платок, а к уху — медную бляху, которую всегда носил с собой.

— Не понимаю, почему он так любит драться? Как ты думаешь? Это ведь больно! К тому же ты делаешь больно другому... Ну зачем ему обязательно надо подраться? — Стефан с трудом произносил слова.

— Я не знаю, Стефан. Почему мужчины дерутся? Наверное, им нравится чувствовать свою силу. Приятно ощущать, что твое тело повинуется тебе и помогает добиваться того, чего хочешь.

— А что ты хочешь? Приносить другим людям боль?

— Да нет же. Наверное, просто приятно чувствовать, что кто-то другой тебе покоряется, подчиняется твоей воле.

— Тогда почему ты почти никогда не дерешься?

— Не знаю. Не люблю покорять. Если кто-то лезет, то я себя в обиду не дам, а так, почесать кулаками, как Эрик или твой брат, не люблю. Всегда же можно договориться, если захотеть. Просто Эрику нравится лезть на рожон, без этого не разгорится драка. А Петеру зачем-то все время надо бороться с несправедливостью. Ну а Клаус, тот дерется, только если девушки смотрят... Слушай, Стефан, а как ты понимаешь, что ты — это ты? У тебя никогда не бывало ощущения, будто ты совсем не знаешь, кто этот человек в зеркале?

— Ну, это просто. Если шрам через всю щеку, то это я, — Стефан криво улыбнулся. — А сегодня меня

можно узнать еще и по разбитой губе и распухшему уху. Но ты уж, наверное, не об этом спрашиваешь?

— Да уж, не об этом, — Ганс усмехнулся скорее из солидарности. С какой-то неожиданной горечью он поймал себя на том, что завидует бедолаге Стефану. Действительно, если ты вечно бит, всегда в неприятностях и без конца утешаешь кого-то, кто тоже попал в переделку, то ты — Стефан. Потому что ты один такой. Тебя не спутаешь ни с кем. Твоя особенность очевидна. А вот что значит быть Гансом? Шить ботинки и сапоги? Узнавать соседей по шагам? Быть Гансом — знать бы, что это такое...



Они договорились встретиться на выходе из метро в половине седьмого, но она, сколько ни старалась слегка опоздать, как это положено для первого свидания, приехала раньше и нервно теребила сумочку, пытаясь изо всех сил надеть на лицо маску усталого безразличия. К тому времени, как его белокурая шевелюра мелькнула в потоке людей, ее одолевали уже совсем другие чувства. Он опоздал на полчаса, и ее захлестывала волна гнева, тревоги, возмущения. Впрочем, его широкая улыбка, по-прежнему убивающая наповал, и убежденность в собственной неотразимости в момент растопили ее ожесточившееся сердце, и она не смогла не улыбнуться ему в ответ.

В шумном прокуренном кафе, где они просидели часа три, вспоминая одноклассников и учителей, она поняла, что такое счастье: сидеть с ним рядом, слышать его голос, при этом совершенно не важно, о чем он говорит, видеть его сияющие глаза, ощущать его едва уловимый запах. О да, не прошло и пары часов,

как она ощутила себя однозначно и неизлечимо влюбленной... душой. Если бы в тот момент ей удалось разделить внутри себя, то какая-то другая ее часть изрекла бы три тонны самого едкого скепсиса, по тонне на каждый час. «Ты выглядишь полной идиоткой, неотрывно глядя в его глаза, глупо улыбаешься его совершенно дурацким шуткам, и вообще, ты даже не слышишь, какую околесицу он несет! Твое сердце замирает, когда в пылу разговора он прикасается к твоей руке. Безнадёжно влюбленная идиотка — вот кем ты всегда мечтала стать?!», — и так далее. Уж ей бы нашлось что сказать самой себе. Но к счастью, она была занята не этим. Ей просто было хорошо впервые за долгое время, и она чувствовала себя счастливой, оттого что он есть и что он рядом...

Вскоре его пиво и ее вино позволили без тени смущения перейти к идее посетить ее однокомнатный «очаг», чтобы показать те школьные фотографии, которые он еще не видел. Тот вечер и ночь она хотела бы запомнить поминутно, но, к сожалению, в голове задержались лишь небольшие смутные отрывки: вскоре уже не верилось — было или не было? А вот утро, как назло, врезалось ей в память очень отчетливо, хотя именно его она предпочла бы и не помнить вовсе.

Будильник, звеневший всегда некстати, в то утро показался ей убийственно неуместным. Это время суток всегда было для нее настоящим испытанием: звонок будильника дает начало утренней спринтерской гонке, в которой все рассчитано до минуты. Поднимая тяжелую голову от изрядно помятой подушки, в тот день она поняла, что жизнь ее переменялась. Потому что он лежит рядом, всклокочен-

ный, теплый, с легким запахом перегара, но пока ей этот запах роднее любого другого. Она пользуется тем, что он еще не открыл глаза, и выскальзывает в ванную, где тщательно приводит себя в порядок и зачем-то томно оборачивается полотенцем, вместо того чтобы просто надеть халат. Попутно она приняла вполне дерзкое решение — опоздать сегодня на работу. Когда она вышла из ванной, он был уже на кухне. Лицо мрачное.

— Я поставил чайник... Уже опаздываю. Сколько от тебя ехать до «Фрунзенской»?

— Час двадцать или полтора, как повезет с автобусом. Что ты будешь на завтрак?

— Крепкий чай и бутерброд какой-нибудь давай.

Его приказное «давай», мрачный вид и деловитость вмиг смывают ее надежды на утреннее романтическое продолжение. Они едят в полной тишине, и она так по-дурацки чувствует себя в этом розовом полотенце, но ей кажется, что идти и надевать халат — затея еще более глупая. «Что же дальше? — Мысли начинают нелепо толкаться в голове. — Как быть? Может, дать ему ключ, чтобы он смог в любой момент прийти после своих курсов вечером? Ну почему он такой мрачный? Может, ему не понравилось? Что ж сказать-то? Почему он молчит? А почему я молчу?» И потому, когда он, склонившись в ее темной и узкой прихожей, завязывая непослушные шнурки, вдруг тепло обращается к ней, до сих пор стоящей в дурацком розовом полотенце: «У меня к тебе большая просьба, Ань», — у нее вдруг что-то расслабляется внутри, и она чуть не бросается ему на шею.

— Конечно, Дим, все, что хочешь.

— Ты когда приходишь вечером после работы?